

18+

НЕ В НОГУ

Заметки бывшего интеллигента

Содержит
нецензурную брань



Илья Липкович

Илья Липкович

**Не в ногу. Заметки
бывшего интеллигента**

«Издательские решения»

Липкович И.

Не в ногу. Заметки бывшего интеллигента / И. Липкович —
«Издательские решения»,

Цикл коротких рассказов о Советской армии конца 80-х. В отличие от многочисленных сборников баек об армейской жизни, эти зарисовки сосредоточены на деталях и их восприятии в сознании интеллигента, который и принимает участие в происходящем, и в то же время отделен от мира тонкой завесой. Цепкая память автора вытягивает детали сорокалетней давности с сухим и жестоким юмором, часто — и по отношению к самому герою. В тексте встречается ненормативная лексика. Книга содержит нецензурную брань.

© Липкович И.

© Издательские решения

Содержание

Frontmatter	6
Призыв	7
На пути в воинскую часть	12
Первый прием пищи	15
Не в своей тарелке	16
Еврей и сало	17
Два товарища	18
Старая песня о главном	20
Шинель	23
О пользе мата	25
В санчасти	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Не в ногу

Заметки бывшего интеллигента

Илья Липкович

© Илья Липкович, 2026

ISBN 978-5-0071-2625-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Frontmatter

Илья Липкович

НЕ В НОГУ

Заметки бывшего интеллигента

Copyright © 2026 Илья Липкович

Все права защищены. Ни одна часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения автора.

Автор выражает сердечную признательность всем своим персонажам — живым или мертвым, без которых не было бы этой книжки.

Призыв

Призыв в ряды Советской армии должен был считаться одним из самых светлых моментов жизни советского человека — если, конечно, тому довелось послужить отечеству.

У меня же уход в армию светлых воспоминаний не оставил. Впрочем, возвращение домой через полтора года — тоже: оно больше напоминало побег. Но это уже другая история.

Военком брезгливо взглянул на отчет медицинской комиссии, исследовавшей мое тело на пригодность к несению строевой службы, и спросил:

— Родственники в Израиле есть?

Я машинально ответил — нет. Сейчас я уже не уверен, что сказал тогда правду.

— Пойдешь в железнодорожные войска, — сказал он и перешел к следующему призывнику.

Я даже не знал, что такие войска существуют, и не представлял, чем они могут заниматься. Вероятно, думал я, они сопровождают грузы или пускают под откос вражеские поезда. Хотя для этого ведь есть партизаны. В роду у нас железнодорожников не было. Спросить о них мне было не у кого. Уже в армии я узнал, что железнодорожные войска в СССР выполняли функцию, отведенную в советской мифологии комсомольцам и комсомолкам, якобы по своей воле выезжавшим на строительство Байкало-Амурской и прочих магистралей. Наряду с зэками, разумеется.

Услышав эту новость, мои родители обрадовались: ведь это означало — «не Афган». Там, по их представлениям, железнодорожным войскам делать было нечего.

Я начал готовиться. Постригся налысо и иногда по утрам делал зарядку. Ходил по городу и пугал прохожих лысым черепом, как тайно приговорённый. Посмеивался, поглаживая ершик на голове. Между тем надвигалась осень. На голый череп упали первые дождевые капли. Уже после я понял, каким надо было быть идиотом, чтобы идти полугодовником (лица с высшим или, как говорят в армии, «верхним», образованием призывались тогда всего на полтора года) в осенний, а не в весенний призыв, — ведь тогда придётся провести в армии целых две зимы (как поется в песне). Одну зиму в армии можно смело приравнять к... Впрочем, я даже не знаю, к чему её можно приравнять. Зима в советской армии — это особое время года, совсем не похожее на гражданскую зиму. Но я опять отвлёкся.

Накануне моего убытия в армию дома устроили праздничный ужин, пригласили друзей и родственников. Отец произнес первый тост и сказал, что каждый мужчина должен пройти службу в армии. Сам он, правда, был только на офицерских сборах 45 дней в Кушке. Мой брат, закончивший институт связи в Москве, не был даже на военных сборах. Всем приглашенным и без того было давно известно, что в нашей семье я был единственный идиот.

Утром я надел на себя, что было не жалко выбросить, в рюкзак мне положили курицу, и мы с мамой поехали в военкомат. «Главное, чтобы настроение было хорошее», — сказала она на прощание и улыбнулась. Мама была родом из Одессы и ценила хорошее настроение. Я унес

её улыбку вместе с приготовленной ею курицей в заплечном мешке. Меня охватил сладостный ужас неизвестности. Вот сейчас нас с маминой курицей повезут куда-нибудь за тридевять земель. Однако в тот день нас никуда не повезли. «Свободен. Сегодня отправки нет, завтра в это же время», — сонно сообщило должностное лицо в погонах лейтенанта.

Я сел в автобус и поехал домой без билета. Деньги на билет у меня, впрочем, имелись, но я решил, что он мне ни к чему. К гражданскому миру пассажиров я уже не принадлежал. Меня там как будто забыли. Дома никого не было, и я влез в нашу квартиру на первом этаже через окно, как, бывало, поступал в детстве.

Я осмотрелся. Всё было таким же, как и вчера, но меня здесь уже не было. Не должно было быть. Ибо меня проводили, хоть не в последний путь, но в путь-дорогу. Я вдруг понял простой смысл первобытных ритуалов, о которых мне часто рассказывал мой друг-археолог, над учёными объяснениями которого я тогда легкомысленно потешался. Дескать, ритуал в древности — это такое освящение перехода из одного состояния в другое, победа мирового порядка над хаосом. Мои вчерашние проводы и были своеобразным первобытным ритуалом перехода. Военком, отправив меня домой, свел на нет действие ритуала, как бы повернув время вспять. Он послал меня в мир, в котором делать мне было уже нечего, ибо я был вычеркнут из прежних списков, а в новые еще не попал. Я был словно привидение, вернувшееся в замок.

Зазвонил телефон, я снял трубку.

— О, привет, а я думал, тебя уже забрали.

— Нет, еще здесь, должны были забрать, но сказали, что...

— Вот здорово! Слушай, помоги решить задачу по геометрии.

Звонил один мой товарищ, еще школьник. Оказывается, в куб был вписан шар, и требовалось вычислить его объем. Мой юный друг был убежден, что задача эта — вопрос жизни и смерти, а моя неудачная попытка уйти в армию важна лишь постольку, поскольку я могу быть ему сейчас полезен. Скоро задача была решена, и мне следовало себя еще чем-то занять до вечера. Я представился себе марсианином, которому вдруг в спешном порядке пришлось осваивать земную геометрию. Остаться дома мне было невмоготу.

Я вспомнил, что мне причиталась небольшая сумма в некоем СМУ, куда меня на время посылали от основного места работы, в Госкомстате Казахстана. Кажется, строили дом, который должны были заселить сотрудниками Госкомстата. Работал я там недолго и должен был получить примерно 50 рублей. Собираясь в армию, я выписал доверенность на отца, чтобы он получил за меня деньги. И вот теперь, чтобы убить время, я взял удостоверение личности, сел в трамвай и поехал. Ехать нужно было в другой конец города. Нашел контору СМУ в рабочем районе, где я никогда раньше не был. Занял очередь в кассу. Вокруг меня работяги с озабоченными лицами. На этих лицах можно было прочесть многое — например, что нужно успеть получить деньги до закрытия гастронома.

Вдруг до меня дошло, что в этой очереди я и вправду выгляжу как марсианин. Я сунул удостоверение в прорезь окошка. Мне вернули его вместе с деньгами: одна купюра в 25 рублей, две десятки и еще какая-то мелочь. «Пересчитайте и распишитесь». Пересчитал. Лысый человек, изображённый на купюрах, лукаво подмигнул мне. Мы оба были марсиане, принимавшие

участие в некоем механическом процессе: выдаче пролетариату заработной платы. Терять нам обоим было нечего. Я положил деньги в карман и поехал домой.

По дороге вспомнил, что забыл проститься с двумя подругами, с которыми учился, а потом работал в Госкомстате. Поймал такси и назвал адрес. Когда я подошел к главному входу, был как раз конец рабочего дня, шесть часов вечера. Ноябрь. В воздухе пахнет зимой. Свет на сцене полупогашен, и привычные элементы декорации (машины, деревья) кажутся фантастическими, как узор на ковре, если долго смотреть на него в полумраке. Передо мной был объективный мир, какой он есть, когда нас в нем уже (или еще) нет. Еще в школе я уяснил из книги под названием «Материализм и эмпириокритицизм» — написанной основоположником, изображенным на денежных знаках, — что мир существовал задолго до нас. В ней доступным мне языком объяснялось, что субъект — это говно, особенно если он уклоняется от строительства социализма в одной отдельно взятой стране.

Из вращающихся дверей учреждения выходят служащие, вдруг вижу лица знакомых девушек.

— О, привет, а мы думали, тебя уже забрали.

— Еще нет, вот я пришел проститься.

— А, ну пока. Пиши. Слушай, Ириш, а ты не помнишь, какую форму нужно представить по фондам строительно-монтажных работ? Там еще непонятно: две графы с одинаковым названием, а моя начальница, значит, говорит, они по-разному должны заполняться.

— Вот точно, я тоже не сразу разобралась. Слушай...

Голоса их звучали будто из потустороннего мира, и скоро тонкая фигурка одной и коренастая другой мелькнули за поворотом и растворились в тумане.

Я почувствовал озноб и зашагал к троллейбусной остановке. С электрическим вздохом подошёл мой троллейбус и встал перед остановкой как вкопанный. Мол, заходите — кому нужно. Мир функционировал по своим законам, несмотря на то, что меня в нем не было.

На следующее утро все повторилось. Только в военкомат меня проводил брат. По его решительной манере сразу было понятно, что домой я уже не вернусь.

В самом деле, нас сразу погрузили в автобус и повезли в военкомат-распределитель Октябрьского района. Настроение у всех было приподнятое. Кто-то рассказывал байку, как один призывник повздорил с военкомом, и военком призывал его семь раз, пока тот не совершил попытку самоубийства — правда, неудачную.

В распределителе я методом проб и ошибок нашел свою группу приговорённых железнодорожников — это были более-менее интеллигентные лица с высшим образованием, замаскировавшиеся под бандитов с лысыми черепами, полуприкрытыми вязаными шапочками, и одетые в рвань.

Стояли, переминаясь с ноги на ногу. Это был уже другой мир — территория сборного пункта, вроде большого двора с плацем посередине, окруженного высоким забором. Заслу-

женный ветеран отхожего дела, покосившийся от времени и употребления туалет «типа сортир» (правда, без привычного разделения по половому признаку на «Ж» и «М»), виднелся в углу, но нас туда не приглашали. Тогда я еще не понимал высокого назначения плаца для несения строевой службы, и мне казалось, что нас просто заперли на какой-то гигантских размеров даче. Я бы не удивился, если бы на заборе с противоположной стороны была надпись «осторожно, злая собака!»

Некоторым особо чадолюбивым родителям удавалось найти щели в заборе и через них передавать что-то своим детям. А может, они вставляли на плечи друг другу и перебрасывали передачи через забор. «Перед смертью не надышишься», почему-то подумал я.

Громкоговоритель приказал идти в подвальное помещение. Мы спустились по ступенькам на ощупь. Вдруг врубили свет. Я увидел коробки коммуникаций, обложенные стекловатой. В громкоговорителе незнакомый голос: «Гоните их назад, это же не люди, а животные!» Я подумал: «Где тут животные? Крысы, быть может. О, да ведь животные — это мы. Это он про нас говорит». Вероятно, кто-то пописал в подвале. Теперь из-за этого мудака нам всем придется идти назад на холод. Но внезапное чувство, что мы все теперь «животные», как-то согревало.

Мы опять рассредоточились и встали на сборном пятачке, во дворе накопителя. Достали еду из мешков и поели что у кого было. Мамина курица произвела ожидаемый эффект. Так готовить курицу никто на свете больше не умел.

Между тем естество свое брало. Сортир в углу казался нам божественной обителью — почему нам не прикажут пойти и организованно поссать? Видно, некому дать команду.

Начинало темнеть. Вдруг приказано идти в помещение через широкие двери, на которые мы весь день смотрели с любопытством, как осужденные — на здание своей тюрьмы. Мы вошли строем и обнаружили огромный зал с высоким потолком, словно в замке, большую часть которого занимали двухъярусные нары: две необъятных размеров квадратные поверхности, покрытые дерматином, словно гигантские полки в плацкартном вагоне. Деления на койкоместа не было — ложись хоть вдоль, хоть поперек. Я лег поперек на верхних нарах и стал смотреть в потолок. Людей на нарах всё прибывало. Чьи-то ноги уперлись мне в голову. Вдруг раздалась команда: выходим строиться. Нас вывели на улицу и партиями отправляли в сортир. Там мы уже сами знали, что делать. Наконец-то! Ссали так, что звенело в ушах. Первые солдатские радости. Потом строем назад.

Когда я шел к нарам занимать свое место, я вдруг увидел знакомое лицо и на мгновение выпал из общего потока. Это был Марат, странный вертлявый тип, которого я до этого встречал в военкомате. Он почему-то приходил туда всегда со своей моложавой матерью (или это была его старшая сестра). На лицах обоих лежала едва уловимая тень психического расстройства.

Марат стоял, прислонившись к стене, как будто он был «сам по себе» и не имел к происходящему ни малейшего отношения, вроде господина Голядкина в «Двойнике» Достоевского. В руках он держал выдавший виды чемодан фасона конца 60-х годов. Один этот чемодан придавал Марату облик городского сумасшедшего (у всех призывников, понятно, были рюкзаки за плечами). Я перебросился с ним парой слов и поспешил к нарам, правда, по дороге еще где-то остановился. Оказалось, что пока я разговаривал с Маратом, время было упущено, и все пространство на обоих ярусах нар было уже заполнено телами. Это был первый за мою службу

пример моей роковой неспособности к самообучению. То, что места на нарах может всем не хватить, было ясно после первого нашего «учебного» отбоя (до посещения сортира). Народ в массе своей неглуп и как хитрое животное учится на опыте. Самые же тупые индивиды, вроде меня с Маратом, оказываются выброшенными за борт. Я обошел нары по периметру, пытаясь нащупать в темноте свободное место, куда я мог бы втиснуться. Отовсюду меня отпихивали чьи-то ноги. Они казались мне ногами одного огромного осьминога, распластавшегося по пространству нар. Наконец, я примостился на нижнем ярусе между чьих-то коленей. Лечь я не мог и спал сидя, прислонив голову к столбу.

Из забытья меня вывел нечеловеческий вопль. По-видимому, с кем-то случился припадок. Вслед за криком я услышал глухой звук падающего с верхнего яруса тела. Потом увидел, как двое несут скорчившееся в судороге вертлявое тельце. Они прошли мимо меня, и я понял, что они несли Марата. На губах его выступила пена, глаза смотрели в разные стороны. «Неплохое начало службы», — подумал я то ли про себя, то ли про несчастного, и прислонился к столбу.

Потом всё куда-то поплыло. Мне снилось, будто я в поезде и проехал свою остановку. Это не беда, нужно только пересесть на другой поезд и ехать назад. Я опять проезжал свою станцию, совсем немного. Просыпался и опять ехал в противоположную сторону, опять чуть промахивался мимо, и так, бесконечно приближаясь к цели, я, наконец, добрался до рассвета.

Сонных нас вывели на улицу. Мы сходили в сортир, привели себя в порядок после кошмарной ночи и приготовились к встрече с нашими «покупателями», как невеста готовится к встрече с суженым. Куда-то нас повезут?

* * *

С Маратом мне довелось еще раз повстречаться, вернувшись из армии. Как-то я прогуливался в сквере, недалеко от правительственной площади. Вижу, вертлявой походкой прямо на меня идет Марат, держа под руку даму. Впрочем, и я был не один. Он тоже сразу узнал меня. Верно говорят: «Дурак дурака видит издалека». Поздоровались. Он сходу спросил, где я служил и была ли у нас дедовщина. При этом в глазах его появился какой-то детский интерес, смешанный со страхом. По наивности его вопроса было ясно, что сам он отмазался от службы. Я все же спросил его — а ты как? «Я в Афгане прослужил, воевали там с духами», — сказал он, глядя на меня безумными своими зрачками. Я подумал, что «афганцу» спрашивать со страхом в глазах про дедовщину в советской армии как-то не пристало, и смерил Марата ироническим взглядом. Девушка же его посмотрела на Марата с восхищением, а на меня — с холодной неприязнью, как на угрозу своему счастью.

«Давай отойдём», — предложил Марат и, уже шёпотом, признался, что это он так сказал про Афган, для девушки, а на самом деле его тогда, после припадка, сразу комиссовали и дали «белый билет». «Значит, пока я служил, ты тут баб трахал», — должен был заключить я. Но вместо этого почему-то подумал: симулировал ли он припадок падучей, повторив в мирных целях подвиг героя «Братьев Карамазовых», Смердякова, или «это так само собою случилось, от одного то есть страху-с»? Но об этом я спросить Марата постеснялся.

На пути в воинскую часть

Наиболее яркие воспоминания об армии относятся, пожалуй, к первым дням, когда тебя только призвали и везут неизвестно куда.

Нас собрали в накопителе-распределителе, откуда возврата домой уже не было: территория окружена высоким забором, и ворота на замке. Приехали «покупатели» — старший лейтенант и сержант — забирать нас в учебный полк. Построили и рассчитали на первый, второй... — до пятого. Каждый пятый — выйти из строя. Понятно, я был пятым. Мне вручают большую коробку (как оказалось, консервы: рисовая каша с мясом), на коробке написано «Липкович». Теперь я должен быть с ней неразлучен, пока мы не приедем в часть или не съедем все консервы. К моей коробке прикреплено пять едоков, включая меня. По мере удаления от дома количество банок уменьшается, и ноша моя становится легче. Правда, процесс этот неравномерен, поскольку поначалу еще оставалась взятая из дома еда.

Куда мы едем и как долго будем ехать, не сообщают — военная тайна. По крайней мере, ясно, что не в Афган, потому что едем на поезде, к тому же в северном направлении: пересадка сначала в Свердловске, потом в Казани. В Свердловске (а может, в Казани) зачем-то переходим из одного вокзала в другой. Мне всюду нужно тащить за собой проклятую коробку. По дороге, случалось, подвыпившие гражданские насмехались над нашим внешним видом — одеты мы были в то, что потом не жалко выбросить. Я привыкаю к коробке — все ж на ней начертана моя фамилия, коробка является вещественным доказательством моего существования и придает какой-то смысл нашему продвижению по карте СССР.

Большинство новобранцев с высшим образованием. Сопровождающий сержант относится к нам уважительно. С его молчаливого согласия мы даже добыли где-то водки и выпили вместе с ним в тамбуре. Закусили тушенкой, которой сержант нас угостил. Я уже потом догадался, что тушенку ему тоже выдали на всех — пару коробок, но он их по дороге продал гражданским, оставив несколько банок на закуску.

Наиболее знаменательные события произошли в первые два дня пути.

С нами ехала еще одна группа призывников: аульные ребята-казахи. Всем по 18 лет, неотёсанные, плохо говорят по-русски. Их сразу загнали на верхние полки — как имеющих более низкий социальный статус. Удивительно, как при самом незначительном давлении — ограничении пищи, пространства, простых жизненных благ — человек тут же превращается в хитрое животное и начинает угнетать более слабых своих собратьев. Они смотрели на нас с верхних полок горящими глазами, как молодые волчата, и что-то замыслили. В первую же ночь стало ясно, что именно. С вечера они запаслись вином, купленным незаметно на каком-то полустанке, и напились вусмерть. Непривычные к алкоголю, они извергли всё, что было выпито и съедено с начала поездки. Сержант бегал по коридору и скидывал ребят с верхних полок, они падали на пол, как мешки, и катались в собственной блевотине.

С этими аульными ни до, ни после инцидента никто из нас не разговаривал, кроме одного уйгура, тоже с высшим образованием, но без социальной спеси. Встречаются иногда такие люди, способные не поддаваться стадному чувству. Я к ним не принадлежу.

Сержант надавал аульным пинков, заставил вымыть загаженные полы и лег спать с чувством исполненного долга.

Однако утром его ждал новый сюрприз: вдруг выяснилось, что с нами едет какой-то «левый» призывник, которого не было в списках. Это был человечек маленького роста, веснушчатый, его лицо напоминало мордочку испуганного лисенка. Найденыш рассказал какую-то, очевидно, вымышленную историю о том, как он отлучился по нужде и его группа уже села в поезд, а он на ходу вскочил в поезд, который оказался не его. Он испугался и до ночи прятался, а потом решил примкнуть к нашей группе.

Я подумал: может, он должен был ехать в Афган и сбежал из своей группы. Сержант, видимо, подумал то же самое.

— Я тебя вижу насквозь, ты — хохол, да? — тихо, почти шепотом, с какой-то неумолимой интимной ноткой сказал сержант лисёнку. — Ненавижу хохлов, хотя у меня самого батя украинец. Но есть украинцы, а есть хохлы. Попадешь в мой взвод — можешь сразу вешаться, зачморя тебя.

Я еще не понимал, что значит «зачморить» и какая разница между хохлом и украинцем, и как она могла вызвать такую патологическую и заворачивающую, как в детстве волшебная сказка, сержантскую ненависть. Возможно, подумал я, хохлы временно исполняют в армии обязанности евреев как объекта всенародной ненависти — по причине недостаточного количества последних среди личного состава.

С «новеньким» никто не пытался заговорить, кроме уйгура. Он подошел к нему, ласково спросил что-то, предложил печенье, тот посмотрел затравленными глазами и взял.

«Хохла» сержант поставил на чистку туалета. «Ты чё, брезгуешь? — услышал я, сидя за стенкой. — Хочешь, я его голой рукой возьму?». Я не сразу понял, что сержант собирался взять «голой рукой». Парнишка не стал дожидаться, пока сержант сам возьмет говно в руку, и принялся за работу...

Жизнь в вагоне потихоньку налаживалась. Так мы ехали, не зная куда, отмеряя оставшуюся свободу каждым промелькнувшим телеграфным столбом...

Наконец, приехали на станцию Ильино Горьковской области. Там уже ждала бортовая машина, которая должна была отвезти нас в воинскую часть. С нами в машину садилась и женщина, по-видимому, она работала в части. Водитель-солдат галантно откинул подножку, чтобы ей легче было забраться на борт. Вслед за ней на подножку попробовал поставить ногу и один призывник. Солдат грубо одернул его и убрал подножку:

— Это не для тебя!

Я подумал: в самом деле, нужно знать свое место, неужели этот чужак еще не осознал всю глубину пропасти, отделяющей нас от гражданских, тем более женщин. Нужно вести себя правильно, и тогда к тебе будут относиться с уважением...

— А тебе, чума, что, особое приглашение требуется?

Эти слова относились уже ко мне. Я поставил ногу на колесо, подтянулся на руках и неловко перекинул тело через борт. Куртка зацепилась за что-то и с треском разошлась по шву. «Ничего, ведь все равно, когда приедем в часть, куртку я выброшу», — подумал я...

В части нас помыли в бане и одели в форму, тем самым придав «оформленность». Теперь ты — курсант, как бы запечатлен и укоренен в новом бытии. Беспокойство оставляет тебя, ты засыпаешь, как младенец в люльке, на своей койке — как приписанный к ней боец, а не случайный человек во Вселенной.

Первый прием пищи

Помню, как нас впервые привели в солдатскую столовую. Взвод занял места за длинным столом, выкрашенным зеленой краской. Были еще какие-то курсанты, приехавшие раньше и имевшие бывалый вид. По команде спустили скамейки на пол, по обе стороны от стола. «Головные уборы снять, сесть, раздатчики пищи встать, к раздаче и приёму пищи приступить». Я протянул раздатчику свою миску и получил порцию перловой каши. Отдельно от основного блюда на столе стояли миски с «бациллой», как я позже понял — вареные куски свиного сала с вкраплениями мяса.

— Первый день, что ли? — спросил меня курсант, сидевший рядом со мной. Я кивнул.

— Хавай быстрее, — сказал он.

И точно, не успел я съесть и половины, как раздалась команда: «Заканчиваем прием пищи, вытираем столы». Все начали сгребать со стола остатки пищи кусками черного хлеба («чернухи», другого в обед не подавали) и сбрасывать в чашку, чтобы кухонному наряду было легче. Я продолжал орудовать ложкой (ножей и вилок в армии, понятно, нет), а левой рукой тоже стал сгребать пищу со стола хлебной горбушкой. Меня пихнули в бок. «Встать, скамейки на место, головные уборы надеть, выходим строиться». Вот и весь обед.

За столом засиживаться нельзя. Как-то один сержант скормил особо голодному курсанту, который все не мог оторваться от тарелки, целую буханку черного хлеба, пока его не начало рвать.

В учебке все было по правилам, и положенный рацион доводился до каждого бойца. Когда я через полгода приехал в батальон, увидел совсем иную картину: дедовщина и бардак. Масло и яйца не всегда «доводились» до самой бесправной части личного состава и изымались из обращения сильными мира сего. Таинство приема пищи упростилось, и подаваемые сержантом команды редуцировались до «снять, сесть, встать, приступить» (в начале) и «встать, на место, надеть, строиться» (по завершении). А иногда обходились вовсе без команд и просто подбегали к столу неорганизованной массой и начинали хватать пищу, словно дикие звери.

Не в своей тарелке

Как-то, в первые недели службы, я опоздал на построение, и рота ушла в столовую на завтрак без меня. На территории части имелось солдатское кафе. Я бывал там, заходил с земляками купить конфет или печенья. Я вспомнил, что у меня были деньги — рубль или даже больше. Подумал: пойду в кафе, что-нибудь съем.

В солдатской столовой прием пищи по команде: сначала скамейки по обе стороны от стола спускаются на пол, затем «головные уборы снять, сесть, раздатчики пищи встать, к раздаче и приёму пищи приступить». В кафе, понятно, никого нет: солдаты заходят сюда в свободное время, за час перед вечерней поверкой, а сейчас все в столовой. Думаю: вот обнаружат, что я самовольно оставил строй, и выставят или даже вызовут кого-нибудь из части. Но в кафе работают гражданские, им все равно, кто пришел и откуда, хоть диверсант: плати и ешь. Я спросил яйцо и хлеб с маслом — предмет утреннего солдатского вожделения. Официантка принесла и поставила на стол.

Было странно сидеть в пустом кафе одному, вне строя, вне распорядка, как будто я выскочил из своего солдатского времени в какую-то иную реальность. Я бережно освободил яйцо от скорлупы и заглянул в солонку в виде миниатюрной бочки, в которую была погружена лопаточка. Давно я таких не видел. Соли там не было, ну и ладно.

Вдруг передо мной вырос высокий строгий мужчина, худощавый, по-видимому, директор кафе. «Странно, — подумал я, — работает в кафе, может жрать хоть весь день, а такой худой». Он гневно посмотрел на меня, а точнее на солонку, и подозревал официантку. Я похолодел: все, сейчас меня выгонят с позором, как нарушителя воинского распорядка. Но, оказалось, гнев начальника был обращен не на меня:

— Посмотрите, вот пришел курсант, а у него в солонке нет соли, в салфетнице нет ни одной салфетки. О какой перестройке может идти речь, о каком ускорении?

«Говорит спокойно, без мата», — отметил я. На то, что нет салфеток, я не обратил внимания, ибо прекрасно обходился и без салфеток, о существовании которых давно забыл.

Я вдруг оказался частью гражданского мира — и из-за меня, существа ничтожного и принадлежащего миру иному, кого-то отчитывали. Это казалось сюрсом. Так приговоренный к повешению, к которому привели парикмахера, является для последнего лишь клиентом.

Я быстро запихнул яйцо в рот, дожевал хлеб с маслом и ушел в роту. Там меня уже искали: «Ты что, Липкович, охуел? Ты же знаешь, что нас всех считают перед тем, как идти в столовую». Я был возвращен грубой силой на круги своя.

Еврей и сало

Сегодня я почему-то захотел съесть кусочек сала с черным хлебом и вспомнил курсанта по фамилии Беркович — моего своеобразного двойника, родом из Грозного, прибывшего к нам вместе с целым взводом чеченцев. В Грозном он учился в пединституте, потом по распределению работал школьным учителем в Туркменистане, но призывался он из Грозного по месту постоянного жительства. Несмотря на то что Беркович всю жизнь маялся по мусульманскому свету, он сохранил первозданную наивность еврея, выросшего в каком-нибудь украинском Житомире.

Как-то он получил из дома посылку, большая часть которой состояла из огромного куска сала. Будучи человеком отзывчивым и добрым — хотя и евреем, — он не стал жрать сало один (а мог бы, воспользовавшись тем, что в тот день он был в наряде, дневальным) и притащил весь кусок в столовую, чтобы поделиться с земляками. Встав во главе чеченского стола, он стал нарезать сало на ломтики, ловко орудуя кортиком дневального. Сам я сидел за соседним, украинским столом, который наблюдал эту сцену горящими от вождения глазами. Чеченцы же отреагировали на сало, как бык на красное, и заревели: «Беркович, немедленно убери это отсюда и сам убирайся!». Исполненные священного отвращения, они боялись даже назвать это по имени.

Помню ещё, как Боря отвечал картавым своим выговором на мой вопрос, готов ли он поделиться полученными из дома сигаретами: «Газумеется, Липковичу — в пеГвую очеГедь».

Как-то чеченцы спросили у него:

— Беркович, а невеста у тебя есть?

— Газумеется, — отвечал он.

— А как её зовут? — спрашивали чеченцы.

— Зейдельман, — отвечал Беркович, привыкший к тому, что в учебке все обращались друг к другу по фамилии. Чеченцы смеялись, обнажая крепкие белые зубы, смеялся и я вместе со всеми. А он улыбался и говорил:

— Да, Зейдельман, а что такое?

Смеялись мы то ли потому, что он называл невесту по фамилии, то ли потому, что фамилия была еврейская, — я так и не понял, а спросить теперь уже не у кого. Дело было поздней осенью 1985-го. Где-то теперь эти чеченские зубы?

Два товарища

В нашем взводе курсанты Угреньюк и Дудочкин были друзья — не разлей вода. Оба крупные, коренастые, похожие на цирковых медвежат. Бывало, столкнувшись друг с дружкой, начнут обниматься, будто близнецы в индийском фильме, разлученные в детстве и наконец встретившиеся: «Угреньюк!» — в восторге ревет Дудочкин. «Дудочкин!» — ревет в ответ Угреньюк. Дудочкин — русский из Баку, поэтому говорит с чуть заметным азербайджанским акцентом, нараспев вытягивая окончания слов. «У нас иначе нельзя, не поймут», — смеется он. Угреньюк откуда-то из Западной Украины, кажется, из-под Ивано-Франковска. Поэтому говорит с украинским акцентом. Большой патриот. Я это почувствовал, когда тот рассказывал нам однажды, разгоряченный после упражнений на турнике, что он до призыва специально проехал по «всем святым нашим местам», вероятно, для того, чтобы укрепить дух перед службой в Советской армии. Я уже было открыл рот, чтобы сказать какую-нибудь гадость, но наткнувшись на его угрюмый взгляд из-под кустистых бровей и бугры мышц под х/б, осекся. И правильно сделал. Угреньюк шуток не любил, особенно еврейских. Меня он тоже невзлюбил, как человека, склонного к уклонению от службы.

Дудочкин, наоборот, относился ко мне с симпатией. Он был уже женат — на бакинской еврейке — и часто с упоением рассказывал о разных приготовляемых ей для него блюдах: форшмак, фаршированная рыба и прочее. Я представил себе крупную еврейскую женщину, под стать Дудочкину, которая кормит его всеми этими блюдами. Вероятно, часть его нерастратченных чувств к жене перешла на меня, как представителя иудейского племени.

Как-то Угреньюк и Дудочкин пошли вместе в наряд, а я, как раз, сдавал наряд на том же посту. Первым пришел Угреньюк и, косясь на меня, стал тщательно проверять порядок на посту. Сдача наряда — дело деликатное, все огрехи предыдущего наряда ложатся на тебя, если их сразу не обнаружить и не заставить устранить при сдаче. Тут, задыхаясь от спешки, подбежал и Дудочкин. Увидев друг друга, приятели кинулись обниматься:

— Угреньюк!

— Дудочкин!

Облапив Дудочкина, Угреньюк похлопал его по раздувшемуся под шинелью животу.

— Затарился! — с одобрением отметил Угреньюк.

Я сразу понял, куда забегал Дудочкин перед нарядом. Наверное, там конфеты и печенье, а может, и банка сгущенки. Мне редко удавалось разжиться чем-то помимо пайки: денег мне из дома не присылали, да я и не просил. Еврейской жены у меня не было. В тайной надежде разжалобить Дудочкина я заметил ему: молодец, хорошо устроился! Тут Угреньюка взорвало:

— Не понимаю я вашу нацию, всюду вы хотите пристроиться, ко всему приспособиться!

Я обиделся, но возражать не стал, потому что один кулак у него был раза в три больше двух моих. А кроме того, я и в самом деле не очень хотел служить и мечтал поскорее куда-нибудь пристроиться. Дудочкин тогда отвел от меня гнев Угреньюка: мол, не приставай.

Сейчас, много лет спустя, прокручивая этот эпизод в голове, я все же не вполне понимаю логику его возмущения: ведь приспособленцем тут выглядит как раз затарившийся Дудочкин, а не я. Но суровая правда жизни была не на моей стороне. Угреньюкам и Дудочкиным нужны были дополнительные калории для службы. От меня же всё равно не было проку — что истощающе сформулировал один старлей: «лучше бы твоя мать сделала аборт».

Старая песня о главном

И в пасмурной Гренландии, и в солнечной Италии

Носил с собою человек всё имущество своё:

Обрывок шкуры мамонта вокруг могучей талии,

Подмышкой каменный топор, а в руке копье.

(Припев из «Песни о вещах»)

Недавно я случайно наткнулся в ютубе на «Песню о вещах» в исполнении М. Боярского, которую не слышал больше 35 лет.

Я запомнил эту песню, потому что на второй день моего пребывания в рядах вооруженных сил наш старшина (должностное лицо, которое по долгу службы «ебёт и кормит» солдата) врубил её на полную громкость, пока мы раствором хлорки «клеямили» своими именами «наше», то есть казенное имущество, дабы оградить его от посягательств вероятного неприятеля — в лице товарищей по оружию.

То, что содержание песни соответствовало нашему занятию, было, я думаю, чистой случайностью. Эта песня и её навязчивый ритм отпечатались в моей памяти, вероятно, как условный рефлекс у собаки Павлова: звуковой ряд идеально наложился на реальность, данную нам в ощущении.

Вот мы, остриженные и помытые в бане новобранцы, сидим в ряд на табуретах и старательно выводим обжигающей пальцы хлоркой свои фамилии на подкладках выданных нам казенных шкур, то бишь шинелей и сапог: Шайтанов, Турсун-заде, Остропико, Беркович, Дудочкин, Угреньюк, Маматкулов, Гогинова, Царалунга, Лейдмаа, Боярский...

«И в солнечной Гренландии — а-ха-ха-ха-ха-ха-ха, насил-с-сабою чилавек всё имущества-сваааё», — стоит в ушах гнусавый голос королевского нашего мушкетера вперемешку с сиплым басом подпевающего ему время от времени старшины. Мотив этот навсегда переплелся в моем сознании с запахом хлорки вместе с более тонким запахом мастики, исходящим от начищенных до блеска полов.

Впрочем, клеймение вещей не спасало от воровства, но значительно осложняло его осуществление, требуя более изощренных методов. На украденной или «спизженной», если использовать специальный технический термин (от частоты употребления не воспринимаемый солдатским ухом как непристойность), шинели требовалось вырвать с мясом клейменое место и «переклеймить» шинель, либо ловко переправить фамилию прежнего владельца на фамилию нового, если фамилия укравшего хорошо ложилась на фамилию жертвы. Так, Шайтанов мог легко украсть шинель у Айтматова, Липкович — у Берковича, а Турсун-заде — у кого угодно, и по свойственной ему наглости он даже не стал бы переправлять фамилию прежнего владельца. Впрочем, воровать шинели ему не приходилось — он был самый низенький из нас — почти ребенок ростом, да и умом тоже.

Идеальным местом для того, чтобы приделать чужой шинели ноги, была санчасть, куда приходили солдаты со всех рот и оставляли шинели без присмотра на большой вешалке в «прихожей» (при этом соблюдалось основное правило армейского морального кодекса — «не пиздить у своих», то есть у солдат своей роты). Военнослужащий, решивший украсть шинель, заранее записывался в санчасть, выдумывая болезнь, достаточно серьезную и легко симулируемую. Например, успехом пользовалось: «желудка болит», тогда как на жалобы вроде «в глаз что-то попало» старшина имел заранее заготовленный ответ: «глаз не пизда — проморгается».

Понятно, что причина, по которой военнослужащему требовалось украсть чужую шинель, — это восполнение недостающей шинели, украденной у него самого. Причина же, по которой шинель бывает украдена у военнослужащего, проста и заключается в том, что проевший шинель военнослужащий — мудака. Некоторые шинели за полгода меняли нескольких хозяев, переходя из одних нечистых рук в другие. Вопрос о том, кто украл первую шинель, как и многие вопросы философии о происхождении мира, не имеет удовлетворительного ответа, хотя иногда мне казалось, что ответ мог быть легко получен, если как следует допросить старшину, сбывавшего в целях личного обогащения излишки казённого имущества заинтересованным гражданским лицам.

В батальоне, в отличие от учебки, никто ничего не клеймил, и воровство всего, что плохо лежит, было положением дел «по умолчанию». Многие солдаты таскали в карманах своего х/б или шинели практически все своё имущество. Это придавало песне Боярского дополнительное сходство с ситуацией: солдат, как первобытный человек, тоже может сказать (и зачастую говорит) — «все своё ношу с собой». Разница лишь в том, что первобытный человек опасался зверей, а солдат — людей.

«Все своё» иной солдат носит с собой не только и не столько по скудости его довольствия, сколько из боязни, что свои же товарищи спиздят из тумбочек все, что плохо лежит:

— документы: военный и комсомольский билеты («документы, граждане, всегда нужно носить с собой» — не раз вспоминал я полезный совет капитана Жеглова из известного фильма);

— шариковую ручку (ничто не исчезает в природе столь быстро, как шариковая ручка, оставленная солдатом, пишущим письмо матери в ленинской комнате, отлучившимся по нужде; мне потребовались годы в американских учебных заведениях, чтобы отучиться от привычки прятать ручку в карман, отойдя на минуту от парты);

— зубную щетку (предостережения старшины, что «пользоваться чужой зубной щеткой — все равно, что брать в рот хуй», оказывали воздействие лишь на слабонервных);

— «станок ебальный» (т.е. бритвенный, ибо лицо солдата — это «ебло», «ебало», «ебальник», а иногда и уменьшительно-ласкательный «ебальничек»);

— присланные из дома семейные фотографии (чужие семейные фото, если на них присутствовали лица женского пола нежных возрастных групп, особо ценились готовящимися к увольнению военнослужащими, которые использовали их для украшения своих дембельских альбомов).

Незабываемы первые утренние ощущения солдата, ставшего жертвой ночного хищения: пока руки и глаза шарят вокруг кровати, сознанием своим ты уже давно понял и смирился с тем, что ремень/шапка/сапоги (ненужное зачеркнуть) утрачены безвозвратно.

В качестве более гуманной разновидности кражи необходимо указать на имевшее широчайшее хождение в армейском быту явление «подмены», что означает акт неэквивалентного обмена части обмундирования военнослужащего на худшее по качеству или изношенное, обычно происходивший во время сна пострадавшего. Например, проснувшись, солдат обнаруживает на месте своего кожаного ремня «деревянный» (то есть сделанный из кожзаменителя) или на месте новеньких («муховских») сапог старую полуразвалившуюся пару, причем левый сапог несколько большего размера, чем правый.

Кстати, «муховский» означает не название фабрики-изготовительницы сапог (или ремня), а тот факт, что вещь не только не была в употреблении, но даже не представила еще случая мухам использовать её поверхность для целей продолжения рода.

Один мой несчастный сослуживец-чуваш, располагавшийся на соседней со мной койке, даже спал в носках (элемент неуставной экипировки, присланный чувашу из дома вместе с тёплыми кальсонами, называемыми на военном языке «вшивником» или, ласкательно, «вшивничком»), опасаясь, что их у него ночью кто-нибудь спиздит, и как я сейчас, по прошествии более четверти века, догадываюсь, подозревая в этом именно меня — и не без основания.

Шинель

Вспоминаю свою первую украденную шинель. Дело было в учебном полку, не прошло и месяца после призыва. Декабрь. Политзанятие. Вопрос о местонахождении вероятного противника. У доски коротышка Турсун-заде пытается поразить острием указки вероятного противника на карте мира. Тянется, встает на цыпочки, морщит лоб. Ему подсказывают отличники-чеченцы: США. Легко сказать, а вот поди найди его. Указка блуждает по полушариям и под общий хохот замирает на Аляске. Открыл Америку! Турсун-заде вовсе не считает нужным скрывать, что свой диплом о высшем экономическом образовании он купил в г. Баку, даже гордится этим и многими другими своими достижениями, главным образом сексуального плана.

Урок окончен, мы выходим в коридор, чтобы надеть шинели, оставленные на вешалке, и спешить на построение. Я помню, что повесил свою на крючке с левого края. Но её там уже нет. Неужели я ошибся? Курсанты, заметив мое замешательство (в учебке все делается на лету, секундная заминка сразу превращает тебя в «тормоз мировой революции»), смеются: «Липкович задумался, надевать ему шинель или нет». Мол, ученый, бля!

Шинели нигде нет. Я к сержанту — пропала шинель. Сержант Василенко, ленинградец, поворачивает ко мне холеную харю и говорит неторопливо и с презрением:

— А ты знаешь, Липкович, почему у тебя украли шинель?

— Никак нет.

— Потому что ты — мудак.

В самом деле — мудак. Зачем было вешать шинель с краю?

Мой взводный, двухметровый гигант откуда-то с Кавказа, представитель древнего ассирийского племени и добрейший человек, не в пример этому чмо Василенко, принял в деле живое участие. Я его нашел в туалете и начал сбивчиво докладывать про свою шинель. Он резко обернулся:

— Липкович, ты дашь мне спокойно поссать, в конце концов!

Закончив свое дело, он принялся за мое. Мы обошли все роты, и я осмотрел несчётное количество шинелей, искал своё клеймение или хотя бы следы его, подробно разглядывая внутренние карманы. От мелькавших перед глазами фамилий у меня зарябило в глазах. Были всякие, включая гоголевского Башмачкина. Не было только Липковича. Понятно, её уже перекеймили или на время припрятали. Мы вернулись в роту.

— Ну, помочь ничем не могу, сам думай, — сказал взводный и многозначительно посмотрел на меня.

А что тут думать: у тебя украли — и ты укради. Но как украсть, если с детства к этому не приучили? И у кого? Понятно, у «своих» нельзя, неэтично. Нужно воровать у «чужих» — по крайней мере, не в своей роте, и вообще, подальше от наших казарм.

«Скорее запишись в санчасть, там легко украсть шинель», — говорили мне земляки. «Давай вместе пойдем», — предложил Сергей О., добрая душа. Я знал, что он прав, но медлил с исполнением, как Гамлет со своей местью.

Я думал, что отсутствие шинели на построении скрыть будет невозможно. Шинель — не иголка, ротный заметит, доложит по инстанции, и там примут меры. Ведь курсант 24 часа в сутки на виду, как подопытное животное.

Но на самом деле всё оказалось гораздо паскудней. В принципе, в роте всегда есть пара свободных шинелей. Скажем, шинели наряда по роте. Поэтому, как только я слышал «Рота, строиться!», сразу бежал к дневальному примерно моих размеров, умоляя его одолжить на время шинель. Так продолжалось три дня, жизнь моя превратилась в ад, ибо на каждое построение нужно было у кого-то одалживать шинель. Через мои руки прошли десятки шинелей разных размеров, и моё появление в строю каждый раз вызывало хохот и насмешки товарищей.

По утрам кто-нибудь из курсантов неизменно справлялся будничным тоном: «Ну что, Липкович, украл шинель?», будто речь шла о том, успел ли я вовремя позавтракать.

На четвертый день я сдался. С утра мы с Серёгой записались в санчасть. Не помню уже, что у кого болело. Там мы быстро приметили подходящую шинель на общей вешалке и в четыре руки завалили её. Товарищ мой прикрыл шинель своим широким телом, а я, как бы проходя мимо «сам по себе», вдруг оступись, неловко прислонился к вешалке, нежно обхватил её за талию, поднял с крючка и потащил за собой. Выбежав из помещения на морозный воздух, на ходу надел — и был таков. Шинель оказалась мне немного широка. На вырост, подумал я. Посмотрел на внутренний карман шинели, где должна была быть хлоркой выведена фамилия прежнего владельца. Увы, мне досталась «не целка», кто-то раньше её уже украл и с мясом вырвал фамилию первого владельца. Я поступил так же с его наследником. Фамилию моего Акакия Акакиевича я не запомнил.

О пользе мата

Два молодых солдата — откормленные близнецы из ленинградской партийной семьи — похвалялись, что отец привозил им мороженое из командировки в Стокгольм в миниатюрном холодильнике. У нас текли слюни.

Соскучившись, мать приехала навестить их при первой возможности (на военную при- сягу), проверить, не уморили ли деток голодом и муштрой. Один из сыновей успокоил её: «Ничего, мам, нас тут не очень ебут».

Мать пожаловалась командиру: как это ее детей за месяц службы обучили выражениям, которым они не смогли научиться дома за 18 лет сытой жизни.

Командир принял меры. Нас рассадили на табуретках, как для просмотра программы «Время», только лицом не к телевизору, а в противоположную сторону — к командиру. Коман- дир говорил очень красноречиво, что, мол, здесь мы без наших сестер, матерей, тёт и бабу- шек, и в речь нашу невольно проникают матерные выражения, которые он, майор Баев, будет искоренять и вырывать вместе с языком.

Все слушали без особого внимания, но ничего необычного в том, что сообщил нам майор, не нашли («ну пусть попиздит, может, полегчает»). Мне же что-то в словах майора показалось странным, но что именно — сразу сказать было трудно. Примерно через пять минут до меня дошло: почти каждое свое слово майор обкладывал матерными, подобно тому, как елочные игрушки заворачивают в вату, чтобы они не разбились, стукаясь друг о друга.

Получалось примерно так: «Здесь вы, бля, без сестер, матерей, нах, бабушек, и в речь вашу невольно, бля, проникают матерные, нах, выражения, которые я, майор, бля, Баев, буду искоренять и вырывать, нах, вместе с вашими ёбаными языками».

Я потом спросил нескольких солдат, заметили ли они что-нибудь необычное в речи май- ора. Никто ничего не заметил.

Через некоторое время и я перестал замечать, что не только разговариваю, но и думаю матом. Скажем, думаю: нужно достать ниток-хуиток, и в самом деле, через какое-то время у меня появляются нитки, а вслед за ними и хуитки.

Мат материализовался.

Недавно я услышал в интернете мысль, что мат является своеобразной лакмусовой бумажкой: если человек матерится со вкусом и его приятно слушать — значит, человек он хороший; а если слушать неприятно, то сразу ясно — человек плохой. Судя по этому крите- рию, в армии хороших людей я встретил не много.

Все же мат в армии выполняет несколько важных функций:

— При полной регламентации жизни (если в точности следовать уставу) мат создает лазейку, через которую человек получает возможность вдохнуть вольный воздух, пусть пахну-

щий сортиром, но не казенным распорядком. Мат по своей природе не уставен и подвергает сомнению официальную версию миропорядка.

— «Выражаясь», солдат выражает и себя — как индивидуальность, хотя и ущербную. Ущербность тут заключается в том, что мат — это тоже некая норма; число матерных слов и их комбинаций ограничено, и трудно понять, как мат может помочь человеку показать свою индивидуальность, — скорее, он ее скрывает.

Могут сказать, что в мате есть некая плебейская сила, человек снижает себя до примитива. Возможно, это так, с точки зрения начитанного гражданского умника. Но в армии, когда индивидуальности грозит растворение, превращение в автомат, мат используется как защитное средство, как некая оболочка, которая выглядит ужасающе однообразной, но позволяет законсервировать и сохранить человеческое за маской полусерьезного отношения к действительности. Мат — это своеобразное защитное средство от коррозии личности, прививка от проникновения трупного яда внутрь. Стены из матерщины защищают тебя от утраты личности. «Всё путем, ебёшь толково», — напевает старшина Сушков в ответ на вопрос, как он поживает, и понимаешь, что за этими словами скрывается тонко чувствующая, богатая и душевно здоровая личность.

— Мат чрезвычайно чувствителен к иерархическим отношениям между людьми. Люди одного социального статуса используют мат иначе, чем люди, находящиеся на разных ступенях иерархической лестницы. Подчиненный не может обращаться к начальству матом, даже с добрыми намерениями. Начальник может выразить матом целую гамму отношений, от интимного доверия до особо изощренного унижения. Действительно, мат идеально подходит для унижения начальством подчиненного сверх того, что он может себе позволить по уставу.

— Наконец, как и любой сленг, мат есть эффективный способ передачи информации, кодирования довольно длинных «уставных» предложений в более компактные и точные. Этим мат коренным образом отличается от слов-паразитов, которые никакой полезной информации не передают. Например, фраза сына, что «их не очень ебут», была достаточно информативна и не имела отношения к половым извращениям, как это могло показаться матери. К сожалению, в данном случае адресат не владел соответствующим устройством расшифровки сигнала. Майор Баев, напротив, вставлял в свою речь матерные слова именно как паразиты, никакой смысловой нагрузки они не несли. Вероятно поэтому на них никто, кроме меня, и не обратил внимания.

У некоторых особо интеллигентных офицеров мат в речи практически отсутствовал. Например, у одного старшего лейтенанта присутствие мата выдавал лишь предлог «на», который он аккуратно помещал после каждого второго слова (например, «вы что-на, товарищ курсант-на, в наряд не готовитесь-на?»). Я сразу догадался, что это рудиментарная версия слова «нахуй», лишенная жала: маленький хвостик на теле животного, оставшийся на месте когда-то большого и гибкого органа, выполнявшего загадочные и отмершие за ненадобностью функции.

В санчасти

С Вовой я встретился в санчасти. Туда меня доставил командир — в студеную пору, с высокой температурой по случаю флегмоны (гнойного нарыва), образовавшейся на моей правой ноге, по-видимому, из-за роковой неспособности постичь искусство грамотного наматывания портянок.

В армии больных не жалуют, и я держался до последнего, пока сочувствовавший мне веснушчатый сослуживец-эстонец, работавший до призыва ветеринаром, не сказал, глядя, как я наматываю портянку на распухшую ногу, что если бы заметил такое у своей коровы, то немедленно бы ампутировал ногу. В глазах его на мгновение блеснул профессиональный азарт. И я решил сдать позиции.

Оказалось, среди обитателей санчасти точка зрения на роль болезней в деле успешного прохождения службы была противоположной: как раз способность к приобретению загадочных хворей считалась свидетельством воинской смекалки и гарантией выживаемости. При утреннем пробуждении Вовин цветущий вид явился мне наглядным подтверждением этой непредусмотренной уставами военной хитрости. Несмотря на отсутствие видимых признаков, Вова страдал от неизлечимого недуга: температура его тела, измеряемая санинструкторами с периодичностью одного раза в сутки, держалась на отметке 37,2 градуса Цельсия.

Причины сей аномалии никто разгадать не мог. Начальнику санчасти — молодому, рано лысеющему, вертлявому прапорщику с длинными узловатыми пальцами, загадка эта была не по зубам. Однажды он специально зашел к нам, посмотрел в зияющую Вовину глотку, послушал его, пытаясь уловить в груди обнадеживающие хрипы. Тут взгляд его упал на шахматную доску и просветлел. «Сыграем?» Меня, как представителя интеллектуальных меньшинств, посадили играть против прапора. Тот играл осторожно. Заметив, что фигура его находится под боем, восклицал, изобразив на лице детскую улыбку: «Хуюшки!», подхватывал фигуру узловатыми пальцами и убирал в безопасное место. Несмотря на столь осмотрительную тактику, примерно через 15 минут прапорщик был повержен — к полному удовлетворению зрителей, включая и тех, кто слабо разбирался в правилах шахматной игры. Прапорщик с позором удался, и Вову на время оставили в покое.

Надо сказать, что руководство санчасти болезнь Володина не тяготило, тем более что он проявил большое искусство и прилежание в организации картотеки и прочей документации, которой в санчасти не занимался никто со времен нашествия татар. Сидя долгими зимними вечерами в ординаторской, Вова внимательно изучал истории чужих болезней, вероятно, надеясь найти в них ответ на мучивший всех вопрос о происхождении его собственной.

А между тем болезнь Вовина имела очень простое объяснение. Оказывается, Вова обладал собственным термометром, как две капли воды похожим на казенные, которые раздавались по вечерам больным для измерения температуры. Термометр он получил в подарок от родителей в одной из посылок, наряду с другими полезными вещами, и вскоре нашел для него весьма остроумное применение. Примерно за 10 минут до обхода больным приносили горячий чай, вероятно, для поддержания боевого духа. Получив чай, Володя опускал в стакан термометр и держал его, пока ртутный столбик не достигал магической отметки в 37,2 градуса. После этого ему оставалось только произвести нехитрую операцию подмены термометра, сунутого подмышку, на термометр, припрятанный под подушкой.

Вовина тайна стала мне известна как лицу, вошедшему в особое доверие. Вова поведал мне еще много интересного, в частности из его веселой гражданской жизни. Оказывается, Вова был родом из Ленинграда (тогда еще не переименованного) и, будучи учеником старших классов, уже проявил чудовищную изобретательность и смекалку на ниве фарцовки (забытое слово из обихода 80-х годов прошлого века). Предметом его преступной деятельности были книги.

Скупал книги Вова у одноклассников и их друзей — детей преуспевающих партийных и хозяйственных работников, а детям требовались деньги на приобретение алкогольных напитков. Нужно сказать, что контингент этот, возможно, не вполне охваченный статистической наукой того времени, был достаточно широк. Сейчас трудно себе представить количество учеников советских школ, удовлетворявших критерию алкоголизма Всемирной организации здравоохранения.

Володю интересовала особая категория этих юных алкоголиков. Именно — те, чьи родители являлись обладателями «Библиотеки всемирной литературы» (в тогдашнем обиходе — «всемирки»). Процесс скупки был организован гениально просто. Книги извлекались сыновьями-алкоголиками из суперобложек и передавались Володе за номинальную стоимость в 1 рубль. Суперобложки же оставались на своих постах, как немые свидетели. Извлеченные из скорлуп сокровища продавались Володей книголюбам по действующим рыночным ценам. Расчет был на то, что преуспевающие владельцы всемирных библиотек не узнают об акте купли-продажи, поскольку их книжный интерес ограничивался беглым обзором выстроенных на полках суперобложек. Действуя по этой схеме, Володя заработал немало денег. Однако всему на свете приходит конец.

Я представляю себе: один из обладателей Всемирной библиотеки, возможно в подпитии, решил почитать на сон грядущий из «Братьев Карамазовых». Хватъ — а на уготовленном месте нет ни одного из братьев. Хватъ за Эдгара По, и там пусто. Эй, Хемингуэй? пусто и там! Хозяин начинает вытаскивать книги одну за другой, и за глянцем обложек ему открывается метафизическая пустота, которой позавидовал бы автор «Братьев Карамазовых». Сам того не подозревая, Володя изобрел блестящий образ той эпохи, по-новому обозначающий затертое от употребления слово «показуха».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.